

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Валентин Распутин

**НЕЖДАННО-  
НЕГАДАННО**



Школьная библиотека (Детская литература)

Валентин Распутин

**Нежданно-негаданно (сборник)**

Издательство «Детская литература»

## **Распутин В. Г.**

Нежданно-негаданно (сборник) / В. Г. Распутин — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

В книгу Валентина Распутина вошли повесть «Прощание с Матёрой» и рассказы: «Уроки французского», «Женский разговор» и «Нежданно-негаданно». Для старшего школьного возраста.

## Содержание

Правда памяти и память правды	7
Прощание с Матёрой	14
Конец ознакомительного фрагмента.	46



## **Валентин Распутин**

### **Нежданно-негаданно**

© Распутин В., 1973–1997

© Курбатов В., вступительная статья, 1998

© Бирюков Л., рисунки, 1998

© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2008

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая*

*размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Правда памяти и память правды

Я читал эту повесть и эти рассказы в разные годы и в разные дни. И дома, в Пскове, за привычным столом, и в Москве, в редакционной бегодке, когда до выхода рассказа в журнале еще долго и хочется прочитать скорее, и в деревне, когда по странице нет-нет пробежит алый, меньше типографской точки паучок или заполошно прострочит гусеница, испуганная белизной, торопливо свесится с края страницы, ища опоры, как дети, слезая с лестницы, ищут пятой следующей ступеньки, и облегченно вздохнет в траве. А «Прощание с Матёрой» и вовсе перечитывал не однажды в разных контекстах. И опять убеждался в старой-престарой и оттого уже почти неслышной истине, что книги живут как люди и в разный час как будто открываются на разных страницах, так что порой даже остановишься в растерянности – да как же я пропустил это тогда или почему не понял.

Это душа растет «не ровно» и не во все стороны одновременно, завися и от числа лет читателя, и от опыта, и от того, чем в этот час живет история. А уж сегодня история так история! Не знаю, как в остальных странах, а у нас, по-моему, и самый беспечный, одним днем живущий человек, и легкодумный школьник чувствует, что кончается не только век и тысячелетие, но и сама привычная тысячелетняя Россия, переходя в совсем новое, неведомое качество. Такие пороги всегда тревожны. Человек отчетливо чувствует закрывающуюся за прежней историей дверь, но, как тот же нащупывающий ступеньку ребенок, не знает, куда он шагнет после.

Концы слышны хорошо, а начала неразличимы. То, с чем мы прощаемся, понятно и близко. То, перед чем стоим, – пугающе и опасно. Но идти надо, и потому хочется осмотреть оставшееся позади с особенной заботой, чтобы продержаться на самом прочном из прошлого хоть самое первое время, а там уж будет видно – авось история сама догадается, что она жива, пока памятлива и пока растет с естественностью дерева, без тимирязевских прививок европейских бананов к русской картошке. Как ни одна нация близкие к природной полноте и наследованное™ жизни, мы вместе с тем, как ни одна же нация, податливы на всякую новость и легки в разрушении своих оснований. Это мучило русскую мысль, совершившую еще не всегда осознанные миром психологические открытия, сродные открытиям географическим. Это волновало и великую русскую литературу последнего времени, ту ее ветвь, которую еще недавно называли «деревенской», хотя ее резоннее было бы назвать национальной в самом глубоком природном и генетическом смысле. Тут сама русская природа устами лучших своих детей высказывала себя с доверчивой искренностью и удивительной глубиной. Это была подлинно «родная речь», как, бывало, хорошо назывались школьные хрестоматии.

Малая часть написанного Валентином Распутиным, собранная в этой книге, – хорошее зеркало и его собственного творчества, и всех беспокойных проблем русского сознания конца века и тысячелетия во всей их подвижности и устойчивости, во всей противоречивости азартной новизны и самозащитной жизни.

### I

Когда я говорил, что книги в разное время раскрываются на разных страницах, я прежде всего думал о «Прощании с Матёрой». Повесть вышла впервые в осенних номерах «Нашего современника» 1976 года, посреди времени, когда уже были построены одни великие сибирские гидростанции и задумывались другие, когда рукотворные моря разливались по земле, а моря природные высыхали и мелели, вызывая грандиозные планы поворота рек для их наполнения. Отчеты партии были торжественны, задор молодости, порывавшейся на великие

стройки, еще достаточно искренен, а коммунизм, судя по уличным плакатам, неизбежен. Идея уже слабела, но тем энергичнее торопилась утвердить свою праведность. Благо грандиозных проектов казалось так очевидно, что какие-то малые неизбежные издержки и утраты легко покрывались величием приобретения. И вдруг оказалось, что несомненное вовсе не несомненно и возможен взгляд и с «той стороны». То все идея «глядела» на человека, а тут человек поднял глаза – и оказалось, что в ответном этом взгляде не то что благодарности, но и понимания нет, что они с идеей смотрят в разные стороны.

Сколько их, русских деревень и малых городков, было затоплено Куйбышевским, Московским, Рыбинским, Братским, Красноярским и иными новодельными морями! Города мы еще вспоминали в печали, жалея Весьегонск и Мологу, оплакивая ушедшие под воду чудные памятники культуры. А деревни... Что деревни? Вон их у нас сколько – не убудет. (Вот и в повести чиновник «из отдела затопления» говорит старухам, пытающимся остановить разорение кладбища, – «У нас семьдесят точек под затопление, и везде кладбища».) И вот русский художник поглядел на одну из этих малых «точек», этих ничем не выделившихся деревень, как, бывало, русская литература глядела на «маленького человека», и открылось, что с каждой деревней уходит Родина и сиротеет каждое русское сердце, слыхом не слыхавшее об этой деревне.

Распутин горестно и бережно подробен в оглядывании каждого дня и чувства своих старых героинь, оставшихся в обреченной затоплению деревне, чтобы доглядеть огороды, да и просто дотянуть до последнего, потому что на новом месте, в новом поселке, куда перевозят деревню, несмотря на соблазн городских удобств, они уже жить не смогут. Он не зря выбирает деревне имя Матёра, заставляя вспомнить, что так в Сибири зовется коренное срединное течение реки, так определяется первородная живая сила и все вместе имеет великим началом слово – мать. Он нигде этого символизма не подчеркивает, но сами-то мы не слепые. И не зря выбирает в героини сильную характером старуху Дарью, из тех, на ком стоит всякая деревня, да и сама наша Родина, потому что именно они в самые тяжелые годы не дают пошатнуться ни Церкви, ни миру, храня течение реки жизни в устойчивом русле. А на чем они стоят – это видно из долгих разговоров и Дарьиных раздумий, которые при внешней простоте своей вмещают все глубинные понятия нашей национальной мысли, так что возмись этот круг проблем очерчивать русский философ, он скажет только сложнее и отвлеченнее, но навряд скажет больше.

Так хотелось бы выписать все подряд, но книга перед читателем, и нечего опережать и теснить мысль читателя своим комментарием. Но от чего-то все-таки не удержусь. Куда деть свою боль и свое понимание происходящего? «Ничем лучшим, – писал когда-то поэт и мыслитель Вяч. Иванов, – не могут отдарить друг друга люди, чем уверяющим ясновидением своих хотя бы только предчувствий или начатков высшего духовного сознания»<sup>1</sup>. Какие уж сегодня претензии на «высшее сознание»! Не в них дело, а вот отдарить писателя и его Дарью хоть малой мерой своего понимания хочется. Тянет отозваться на ее слово, договорить с нею там, на Матёре, где жизнь еще дотягивает нить памяти, а то и пожаловаться ей на то, что случилось с нашим сердцем уже в нынешнее время, после гибели Матёры, понять вместе с нею, что мы успели растратить после ее, увы, не услышанных нами в свое время вразумлений. Ну и, таким образом, может быть, протянуть ее правду подальше, подержать ее на земле и, значит, еще побыть со всем лучшим, что было Россией и что держит ее существование на глубине до лучшего дня и сейчас.

«Нонче свет пополам переломился... И по нам переломился, по старикам... ни туды мы, ни сюды... Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешное время были люди, дак ить никто назадь себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут...»

---

<sup>1</sup> И в а н о в Вяч. Наше наследие. 1989. № 3. С.122.

Добавим от себя только, что если кто назад и смотрит, то все же мимо человека, выщеливая кто экономические системы (тень Столыпина), кто способ правления (монархия), и всё через голову вот этих стариков и старух, не видя еще такой очевидной в них силы «ранешнего человека». А что сломя голову вперед бежим, она не раз скажет и пожалует человека, что он так «жизнь раскипятил»: «Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она над им верх взяла, она с его требует че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачивайся».

А это вот даже еще и не обдуманная нами сегодня как следует мысль: как мы стали невольниками цивилизации и чужого способа мысли. И так незаметно и скоро в этом беге пробежали мимо человека, что теперь и вернуть не знаем как. Твердим, твердим о нравственности, о духовности, о традиции, а сами все так же бегом вперед. Всякая работа от этого кажется временной и годится только для того, чтобы что-то поскорее заработать, пока не прикрыли, вроде нечаянной халтуры на заводе и в деревне, а уж всего нагляднее в ларьках, мимолетных предпринимательствах, стремительно исчезающих банках и особенно в неуловимых, носимых ветром «челноках».

Дарья всего этого не видела и представить не могла. По нашим нынешним представлениям, ее мир еще стоял «на трех китах» и был недвижим, так что у него и имя было болотное – «застой». А только она оказалась права, что безоглядный бег и беспамятство сулят распыление и духовную смерть. Это уже подтвердил и сын ее Павел – не последний мужик в деревне, крепкий, хозяйственный, а вот не заметил, как тоже себя пробежал: «Нет, старею, видно... Старею, если не могу понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как делают – так и надо. <...> Все, что ни происходит, – к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся... Неужели и мое время вышло? Мать живет в одной уверенности, молодые в другой, а тут и уверенности никакой нету. Ни туда ни сюда, меж теми и другими...»

Он уже отстал от правды матери, от ее устойчивой силы, потерял живую связь с землей, хоть и держал ее разумом, слышал не вовсе истраченным слухом «обобществленного» человека, но и его несло со всеми без оглядки; коли «своим шагом мало кто ходит», то и он не своим пошел. Не зря он в конце мечется в тумане, ища Матёру, и не может сыскать, словно она от него за его беспамятство скрылась.

А уж что «знают молодые», мы услышим от Дарьиного внука Андрея: «Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть. <...> Мне охота где молодые, как я сам, где все по-другому... по-новому. <...> Вот я и хочу туда, где самое нужное! Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако, памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу». Ведь вроде прав, прав! Я сам давно ли был бы рад, если бы мои сыновья вот так горели – где теперь одного такого горячего сыщешь, чтобы общее для него свое малое загоразживало? А только великая и пронизательная правда распутинской Дарьи посильнее и повернее этих благородно-общественных деклараций, которые скоро стали кончаться ложью и двоемыслием, а потом стремительным предательством, так что никто и оглянуться не успел, как вчерашние горячие комсомольцы Андреевых идеалов уже были в красных пиджаках владельцев офисов и бирж, бесстыдно расточающих нажитое отцами общественное добро. Причина же скорого этого превращения в том, что они, как Андрей, восстали против памяти, помешала она им, показалось, что ее многовато. Андрей-то еще по неразумию пытается прожить вне памяти, вне чужого опыта, который, как ему кажется, связывает его крылья, не дает раскрыться радости новой жизни. Другие, кто пришел потом, уже гнали память нарочно, потому что она обязывала к совести и ответственности, честности перед историей, национальной культурой и верой отцов. Память ограничивала средства, которыми можно было пользоваться, а значит, мешала добиваться своего любой ценой.

Вот что своим природным чутьем и своей подлинной земной культурой (а это именно высшая и единственно плодотворная культура) провидела старуха Дарья во внешне благом деле затопления своей деревни для пользы и желанного Андрею молодого развития жизни. У нее есть хорошие слова о том, что она, может, «мало видела, да много жила. На че мне довелось смотреть, я до-олго на его смотрела».

Это, может быть, очень просто и бедно на молодой слух, но это говорит о единственно здоровом способе познания мира, когда он познается вглубь и ввысь, в память народную и Божью. А когда мы избираем «горизонтальное» познание (бегать вместе с Андреем с места на место – тогда по России, а теперь уж и по миру), то это значит, что мы рискуем остаться вовсе без корневой системы, перестать слышать родную историю и веру, усвоив старый лозунг энергичной цивилизации – где хорошо, там и родина, тогда как, еще раз вспомню умнейшего Вяч. Иванова, «ни один шаг по лестнице духовного восхождения невозможен без шага вниз, по ступеням, ведущим в ее подземные сокровища, – чем выше ветви, тем глубже корни»<sup>2</sup>. Вот они бы с Дарьей скоро поняли друг друга, потому что она словами попроще настойчиво твердит себе, детям, читателю о том же: без наследованной памяти человек теряет душу, которая одна и держит его. «А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На че угодно такой пойдет, не оглянется. Ну дак без ее-то легче. Налегке устремились... Не спросит никто».

Подлинно «налегке». Андрей вон и уйдет из Матёры, не обернувшись. И только Дарья за него будет знать, что и ему однажды придется встать перед многовековым клином родных людей, как стояла перед затопляемыми могилами она: «Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей... Там будут и отец с матерью, и деда, и прадеды – все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным клином, расходящимся строем, которому нет конца... И на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она». И пережив это, она тем тверже и увереннее скажет: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни». Это знание и помогает ей устоять до конца, как тот несжигаемый листвень, что стоит на виду всей Матёры и не дается ни топору, ни пламени, потому что стоял тут всегда.

Распутин потому так подробно и пишет ее неторопливые мысли о человеке, о смерти, о памяти, что не старуху Дарью пишет, а саму землю, саму жизнь и память, видя, что это не одна Матёра, а Родина наша с ней «по-е-ехала», как говорят они, когда глядят на пылающую мельницу, на сгоняемых коров, на умирающий остров. Это мы пое-ехали в свой новый, нескладно, без ума поставленный «поселок», оставляя в Матёре своих старых, не годных для этой жизни матерей, свои кладбища, свою память. И я потому так настойчиво возвращаюсь к этому слову, что повесть не хочет уходить в историю, а только сегодня и заболевает в нашем сознании с последней остротой.

Настоящее-то «прощание с Матёрой» только сейчас и начинается. И почти уж не верится, что это мы жили так мерно и подлинно и что наши деревни могли умирать от таких еще понятных причин, что еще можно было проститься со всем строем жизни так по-человечески полно. Могли ли мы думать, что потом смерть возьмется за нас страшнее. Сначала в распутинском «Пожаре» мы увидим, как человек, оставив «Матёру», становится «архаровцем» без роду и племени, а там уж и вовсе все пойдет выкашиваться, как от радиации, – вроде без причины, когда и не сгоняют никого и не топят, а поля вдруг дичают, избы падают, брошенная техника ржавеет, как после войны, и человек делается однодневен, а жизнь искрашивается на мгновения и уносится пылью под первым порывом.

«Матёра», как и дивные при всей горечи сюжета, полные света и любви «Уроки французского», еще оттуда, из целостной жизни, где хоть и «тронулось» все, а в «Матёре» вроде и покатилося неостановимо, но где еще «система координат» жива, где люди слышат друг друга

---

<sup>2</sup> И в а н о в Вяч. Наше наследие. 1989. № 3. С. 124.

и, опомнившись, могут собраться, иначе ведь это и не писалось бы, и не пробивалась сквозь обступающую темноту спасительная надежда. А уж последние рассказы этой книги убеждают, что «переезд» совершился, что надо собирать душу для последнего разговора, за которым перемена может оказаться необратимой и мы перестанем быть детьми своего народа и своей истории.

## II

В самой неуверенности и неровном дыхании рассказа «Женский разговор» слышно долгое молчание Распутина, сбой сердца, когда лихорадочная хаотичность жизни отрывала его от стола болезнями, депутатской работой, прямой публицистической деятельностью, когда было не до художественного слова. И сейчас, в общем, не до него. Но пока молчат совестливые художники, их место в литературе занимает расторопная братия поставщиков чтива, торопливо разоряя и то малое, что еще остается от высокой традиции. И тогда писатель вспоминает, что «призвание – это призванность, задание на жизнь», и возвращается к выполнению этого задания прямым художественным служением.

Снова его героини, как и в большинстве прежних сочинений, – женщины. Шестнадцатилетняя Вика, чьим школьным аттестатом стал аборт, и ее деревенская бабушка Наталья. В бабушке легко угадать всех прежних бабушек Распутина с их целомудренной ясностью и земной полнотой понимания мира. А вот Вика уж новость, это уж следствие той жадной поспешности жизни, которая явилась сегодня. На первый же несмелый укор бабушки и напоминание, что жизнь надо бы начинать почище, Вика обрывает ее:

«– Что ты мне свою старину? Проходили.

– Куда проходили?

– В первом классе проходили. Всё теперь не так».

Тут даже и Андрей из «Матёры» с его торопливостью отстаёт. Именно так – в первом классе теперь проходят эти науки. Если телевизор не будешь смотреть, одноклассники расскажут и покажут. Андрей-то разве спешил? А тут некогда ждать – тут надо в «лидеры» выходить, «целеустремленность» демонстрировать. Только уж цель не Андреева – посвободнее. Не зря старуха Наталья находит сравнение с гончей: «Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взовется. И гонит, и гонит, свету невзвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит».

Долгим бережным рассказом о своей любви старуха и надеется вернуть Вику «в себя», вправить этот безумный вывих. И не знаю, достучится ли. Девочку ничего уже не смущает: она у бабушки «способы» выпытывает и, кажется, уже не понимает бабушкиного языка, когда та с чудной чистотой и застенчивостью вспоминает самое интимное: «...угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. <...> Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет».

Доскажет бабушка свою историю, и Вика уснет – поняла ли, разгладилась ли душой – бог весть. Писатель не торопит с моралью в надежде, что не эта девочка, так другая, повнимательнее, поймет и услышит, не даст победить себя поспешному знанию «с первого класса».

В своем недавнем «Манифесте» Распутин писал, что «либерально-криминальная революция... столкнула Россию в такую пропасть, что народ еще долго не сможет подсчитать свои жертвы. В сущности, это было жертвоприношение народа, не состоявшееся по плану, но и не оконченное... Наступила пора для русского писателя вновь стать эхом народным и небывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и боль, и любовь, и прозрение, и обновленный в страданиях человек»<sup>3</sup>. Вика уже была такой жертвой, но еще не было в усталом писателе

---

<sup>3</sup> Наш современник. 1997. № 5. С. 5–6.

«небывалой силы»: слишком было изранено сердце и утомлена душа. Эти силы возвращаются медленно, но неуклонно.

Последний из рассказов этой книги свидетельствует, что писатель возвращается к своему делу в настоящей деятельной силе и готовности выразить небывавшее с соответственной властью и глубиной. И если мы еще не видим настоящей завершенности и могучей архитектуры прежних работ, то лишь потому, что слишком нов и слишком бесчеловечен материал, чтобы описать его прежним, как будто уже всесильным пером. «Либерально-криминальная революция» успела надругаться над жизнью в таких формах, что боль и страдание еще перевешивают силы прозрения. Не было в народной жизни ничего похожего, и она не успела вооружиться новым защитным словом и только копит силы художественного сопротивления.

Вон как хорошо, как любяще, как старинно-сильно, хочется сказать «играючи», пишет Распутин начало рассказа, пока давний его герой Сеня, кочующий из рассказа в рассказ, собирает своих односельчан и коротает время до парохода. И свет, и ирония, и озорство – можно обмануться, что жизнь вернулась «домой». А только мы уже увидели беспокойным взглядом женщину с девочкой, мающихся в сторонке, и уже чувствуем неладное, а когда Сеня вспомнит, как эта красивая девочка вчера не просила, а профессионально получала милостыню в городском торговом центре и как укорила его, не знающего, как унять боль и топтавшегося около нее: «Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете», – то станет окончательно ясно, что добром это не кончится. И скоро Сеня услышит: «Купи девочку... а нет, так хоть так возьми», и завернется немыслимый сюжет – он увезет маленькую Катю в деревню и постарается вернуть ее к детству смешными историями, заботой, вовлечением в жизнь дома. И окаменевшее лицо девочки начнет расправляться, но мы вместе с Сеней всё тревожнее будем поглядывать на реку и ждать окончания навигации – осталось три парохода, два...

Но чудес не бывает, и Сеня увидел их – крепких «хозяев» девочки, выведавших ее укрытие. Он еще пытается устоять:

«– А почему ты думаешь, что я тебе ее отдам? – спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору – где что лежит...

– А как бы ты это не отдал ворованное?..

– Если ворованное – давай в суд! – закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. – В суд давай! И там посмотрим, кто украл!

– Можно и в суд, – лениво согласился приезжий. – Да долго... Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. – И коротко добавил: – Давай без жертв.

– Ты меня не пугай!

Сеня обмер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на нее и сошла – перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся девочка. Лицо еще вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменевало...

– Никуда она не поедет!..

Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.

– Как же бы я не поехала? – тихим голосом, стойшим многих разъяснений, сказала она. – Что вы!»

Все оборвется страшным криком привыкшей к девочке Сениной жены, от которого не защититься ни Сене, ни нам с нашей растерянностью, – как это разгулявшееся зло может вот так безнаказанно ломать детскую жизнь? Подосадуешь было на писателя, что не смог найти другого финала, а успокоишься и увидишь, что нет его у жизни – этого другого финала, потому что «жертвоприношение не окончено», что «революция» еще длится и беззаконие косит самые беззащитные души, потому что, как говорит пытающаяся спасти девочку и знающая, что никуда не денется, женщина: «Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы». И волки, конечно, пока режут овец.

### III

Нет, кажется, в книге исхода. Нет спасения Матёре, не выправить душу с детского порога изломанной Вике, не защитить красивую девочку, пущенную использовать жальливое русское сердце для добывания денег волкам от наживы. Подлинно, как говорит писатель в «Манифесте»: «Мы оказались вдвинуты в жестокий мир законов, каких прежде не знала наша страна», если тут уместно слово «закон». Но там же он говорит о России, что «подлинно хранящая себя, стыдливая, знающая себе цену Россия отступила, как партизаны в леса». Она собирает там себя под взглядом русской литературы, Русской Церкви и истории, и там уже ничего «разъяснить не надо и народ берет свое место».

И эта малая книга в своей горькой любви и прямоте – хорошая опора этого народа. Есть у нее Дарьи, есть Сени, которых можно только убить, а не переменить. И они, слава Богу, хоть растерявшийся, но еще живой народ. А пока работают такие писатели, как Распутин, лучшие люди России не останутся безгласны, услышат друг друга и укрепят и своих детей.

«Правда в памяти», – говорила старуха Дарья, и ее с этого не свернуть. Теперь к этой правде прибавляется входящая в нее, но долго вытаскиваемая и изгоняемая правда веры, без которой память неполна и ослаблена. И обе они возвращаются с такими книгами в детское сознание – это сулит надежду. Станным спутником прошел со мною в этих страницах нечаянный Вяч. Иванов, думавший о русской культуре на таком же революционном переломе и не терявший света. Он тоже настойчиво говорил о памяти. Значит, не случайно. «Память – начало динамическое; забвение – усталость и перерыв движения, упадок и возвращение в состояние косности»<sup>4</sup>.

Мы еще дотягиваем период усталости и упадка, период насильственно поддерживаемого забвения, но век и тысячелетие ведь не только кончаются – они готовят работников совсем нового времени, которые придут из читателей таких книг со спокойным и уже не шатающимся знанием своего – дети своей Родины и культуры, дети русской литературы.

1998

*В. Курбатов*

---

<sup>4</sup> Иванов Вяч. Наше наследие. 1989. № 3. С. 125.

## Прощание с Матёрой

### *Повесть*





1

И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз Матёра была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды – да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба – да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острове, где поближе. И картошку, морковку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать кило-

метров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голоса петухи, режут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах и растворились ворота во дворы – их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски – поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали – и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а уютгом, – было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матёре близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмога – понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога – ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и по-прежнему. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко – Вого дул, так прозвали прибудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохлацкий манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: «богохул», а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в «богодула». Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую стороны; везли по воде арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгрести к нему: разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в Матёре срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Вого дул. Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой – она была положе и ровней – и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары, голод, разбой.

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возгавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, с помолом хоть и некорыстным, да не заемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху.

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие земли, и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой, и места потом не показать, где там селились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе Матёры не приходилось: она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламом, пустить под огонь.

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

## 2

Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух, лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли – концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так:

– Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. – Это Дарья Настасье. – Я уже в памяти находилась, помню.

– Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.

– Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была – оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

– Я помню.

– Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матёру случайным ветром меньше десяти лет назад, – в Матёру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда – откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну, видела Москву, к чему в деревне по извечной привычке не очень-то доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и что, если рядом жила? – в Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не злясь, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что схлопотала прозвище Московшишна. Оно ей, кстати, шло: Сима была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верно досталась несладкая, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную и ту немую девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за которым могла бы ходить – стирать, варить, подавать. Именно по этой причине она и попала в свое время в Матёру: услышав, что дед Максим остался бобылем, и выждав для приличия срок, она снялась

из Под вол очной, где тогда жила, и отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей всего, деда Максима напугала Валька, немая Сими́на девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне зубоскалили: «Хоть и Сима, да мимо», но Сима не обижалась. Обратно в Подволочную она не поплыла, так и осталась в Матёре, поселившись в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола – тем и пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз.

Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало, рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки – не ребенок, а бабенок. Старухи жалели его, приласкивали – он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то не детским, горьким и кротким пониманием.

– Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? – удивлялась Дарья. – Че ты там за мной видишь – смерть мою? Я про нее и без тебя знаю. Ишь уставился, немтырь, как гвоздь.

– Он не немтырь, – обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.

– Не немтырь, а молчит.

Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками. Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с невесткой на новоселье, наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор, весь огород на ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела, поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама.

Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные, солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами.

Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось – ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие дожди и вовремя же наступившее тепло, это редкое согласие, сулящее урожай; неторопливое, желанное нарастание лета...

– Утром подымусь, вспомню со сна... ой, сердце упрется, не ходит, – рассказывала старуха Настасья. – Осподи!.. А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему говорю: «Ты не плачь, Егор, не надо», – а он: «Как мне не плакать, Настасья, как мне не плакать?!» Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида – и вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.

– Че нас без пути пужать? – спрашивала Дарья.

– А чтоб непужаных не было.

После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, наговаривать на своего старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается», хотя, знали все, дед Егор не

вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, страшал, пробовал учить – ничего не помогало, и он отступился. Во всем другом нормальный, здоровый человек, а тут как резьба какая свернулась и хлябает, проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть. Добрые люди старались не замечать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

– Как там сегодня Егор – живой, нет?

– Ой! – радостно спохватывалась Настасья. – Егор-то, Егор-то... едва нонче не помер. У старого ума нету, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кровушки.

– А теперь-то как – остановилась?

– Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу досмотрю, че с им.

А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом: опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки.

Им предстояло самое скорое, раньше других, прощание с Матёрой. Когда дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Там для таких же, как они, одиноких и горемычных из зоны затопления, ставились специально два больших дома. Условия были обменные: они не получают ни копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор, не без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть город на совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что поздно, нельзя.

– Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты какой работник, – вразумлял его председатель сельсовета Воронцов.

– Я всю жисть колхозу ондал.

– Колхоз – другое дело. Колхоза больше нет.

Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, отведенная для них с Настасьей квартира была готова, ждала их, но старики все тянули, не трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья посадила огород, заводила то одно, то другое дело – лишь бы отсрочить, обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на них, страшая, что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор решился: если уж все равно ехать, то ехать. И отрезал Настасье:

– Чтоб к Троице была в готовности.

А до Троицы оставалось всего-то две недели.

– Зато никакой тебе заботушки, – не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасья Дарья. – Я у дочери в городе-то гостевала – дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь – вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом – нажмешь, жар идет. Вари, парь. Прямо куды тебе с добром! – баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко покупной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих – оне надо мной смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и дрожишь, мучишься, чтоб за столом не услышали. И баня... какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются, мокрые вылазят. От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. А ишо этот... телехон займей. Он тебе: дрын-дрын, а ты ему: ле-ле, поговорела – и опеть на боковую.

– Ой, не трави ты мое сердце! – обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза. – Я там в одну неделю с тоски помру. Посередь чужих-то! Кто ж старое дерево пересаживает?!

– Всех нас, девка, пересаживают, не однуё тебя. Всем тепери туды дорога. Только успевай, Господь, прибирай.

Настасья, не соглашаясь, качала головой:

– Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете месте, а я на отдельности. Вы, которые с Матёры, друг к дружке соберетесь, и веселей, и будто дома. А я? Ой, да че говорить?!

– Сколько нас, всех-то? – рассудительно отвечала Дарья. – Никого уж не остается. Погляди-ка: Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по сию пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когды выбирать, ежли вино не все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену...

– Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска... Околоток хороший наберется. Не мое кукованье.

– От и вся Матёра! Господи!

– А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу, – заунывно подхватила Сима и опять притянула к себе Кольку. – Мы с Колянней сядем в лодку, оттолкнемся и покатым куда глаза глядят, в море-окиян...

У Симы не было своей собственности, не было родственников, и ей оставалась одна дорога – в дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как выяснилось, появилось препятствие: Колька, в котором она души не чаяла. С мальчишкой в дом престарелых не очень хотели брать. Валька, немая Симиная дочь, свихнулась и потерялась. Взяв годы и познав мужика, одного, другого, третьего, Валька вошла во вкус и так полюбила это дело, что уже и сама без стеснения напрашивалась на ночные игры. И очень скоро наиграла Кольку. Сима гонялась за Валькой с палкой, матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала, вот уже больше года от нее не было ни слуху ни духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе и движении, которые начались теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной неоформленности отыскать ее было нелегко.

– Если и найдется, Колянню я ей так и так не отдам, – говорила Сима. – Мы с Колянней хоть поползем, да на одной веревочке.

– Ты пошто его не учишь говорить-то как следует? – попрекала Дарья. – Он вырастет, он тебя не похвалит.

– Я учу. Он может говорить, Колянню у нас молчаливый.

– Пришибло мальчонку. Он все понимает.

– Пришибло.

Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и подставила под самовар – большой, купеческий, старой работы, красно отливающий чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила тугая и ровная, без разбрызгав, струя – кипятку, стало быть, еще вдосталь, – и потревоженный самовар тоненько засопел. Потом Дарья налила Симе и добавила себе – отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, закланялись, покряхтывая, дуя в блюдца, осторожно прихлебывая вытянутыми губами.

– Четвертый, однако, стакан, – прикинула Настасья.

– Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь. Будешь на своей городской фукалке в кастрюльке греть.

– Пошто в кастрюльке? Чайник налью.

– Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого скусу. Водопой, да и только.

И усмехнулась Дарья, вспомнив, что и в совхозе делают квартиры по-городскому, что и она вынуждена будет жить в тех же условиях, что и Настасья. И зря она пугает Настасью – неизвестно еще, удастся ли ей самой кипятить самовар. Нет, самовар она не отменит, будет

ставить его хоть в кровати, а все остальное – как сказать. И не в строку, потеряв, о чем говорили, заявила с неожиданно взявшей обидой:

- Доведись до меня, взяла бы и никуда не тронулась. Пушай топят, ежли так надо.
- И потопят, – отозвалась Сима.
- Пушай. Однова смерть – че ишо бояться?!
- Ой, да ить неохота утопленной быть, – испуганно остерегла Настасья. – Грех, поди-ка.

Пушай лучше в землю у кладут. Всю рать до нас укладали – и нас туды.

- Рать-то твоя поплывет.
  - Поплывет. Это уж так, – сухо и осторожно согласилась Настасья.
- И чтобы отвести этот разговор, ею же заведенный, Дарья вспомнила:

- Чо-то Богодул седни не идет.
- Уж, поди-ка, на подходе где. Богодул когда пропускал?
- С им грешно, и без его тоскливо.
- Ну дак Богодул! Как пташка Божия, только что матерная.

– Окстись, Настасья.

– Прости Господи! – Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и неудобно, со всхлипом вздохнула, прихлебнула из блюдца и снова перекрестилась, повинившись на этот раз шепотком молитвы.

Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая; хлопал крыльями и горланил в ограде петух, выходил под окно, важно ступая на крепких, как скрученных, ногах, и заглядывал в него нахальными красными глазами. В другое окно виден был левый рукав Ангары, его искрящееся, жаркое на солнце течение и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и черемухой, уже запылавшей от цвета. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных мостков сухостью и гнилью. На порог заскочила курица и, вытягивая уродливую, наполовину ошипанную шею, смотрела на старух: живые или нет? Колька топнул на нее, курица сорвалась и зашла, залилась в суматошном кудахтанье, не унося его далеко, оставаясь тут же, на крыльце. И вдруг заметалась, забилась в сених, наскакывая на стены и уронив ковшик с ушата, в последнем отчаянии влетела в избу и присела, готовая хоть под топор. Вслед за ней, что-то бурча под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу батошкой и выкинул в сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех сторон глаза и возгласил:

– Кур-рва!

– Вот он, святая душа на костылях, – без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стаканом. – Не обробел. А мы говорим: Богодул чо-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл.

– Кур-рва! – снова выкрикнул, как каркнул, старик. – Самовар-р! Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!

– Кого грабют! Че ты мелешь?! – Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится: скажи кто, будто остров сорвало и понесло как щепку – надо выбежать и посмотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчалось в тартарары – хоть глаза закрывай.

– Хресты рубят, тумбочки пилят! – кричал Богодул и бил о пол палкой.

– Где – на кладбище, че ли? Говори толком.

– Там.

– Кто? Не тяни ты душу. – Дарья поднялась, выбралась из-за стола. – Кто рубит?

– Чужие. Черти.

– Ой, да кто же это такие? – ахнула Настасья. – Черти, говорит.

Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:

– Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит.

### 3

Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега.

Первой, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая, двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с трудом поспевала Настасья: ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима. Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.

Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил:

– Ты чего, ты чего, бабка?!

– А ну-ка марш отседова, нечистая сила! – задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой.

Мужик отскочил.

– Но-но, бабка. Ты... это... ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты... вы... – Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. – Вы откуда здесь взялись? Из могил, что ли?

– Марш, кому говорят! – приступом шла на мужика Дарья. Он пятился, ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. – Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить... – Дарья взвыла. – А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребята лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?! – Она взглянула на собранные, сброшенные как попало кресты и тумбочки и еще тошней того взвыла: – О-о-о! Разрази ты его, Господь, на этом месте, не пожалей. Не пожалей! Не-ет, – кинулась она опять на мужика. – Ты отсель так не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.

– Да отцепись ты, бабка! – взревел мужик. – «Ответишь»! Мне приказали, я делаю. Нужны мне ваши покойники.

– Кто приказал? Кто приказал? – бочком подскочила к нему Сима, не выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжала выкрикивать: – Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!

На шум из кустов вышел второй мужик – этот поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглоблей не свернешь и тоже в зеленой брезентовой спецовке, – вышел с топором в руке и, остановившись, прищурился.

– Ты посмотри, – обрадовался ему «медведь». – Наскочили, понимаешь. Палками машут.

– В чем дело, граждане затопляемые? – важно спросил второй мужик. – Мы санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению санэпидстанции.

Непонятное слово показалось Настасье издевательским.

– Какой ишо сам-аспид-стансыи? – сейчас же вздернулась она. – Над старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.

– Ну оказия! – Мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.

– И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас прямо гляди, че натворили, аспиды?

– Че натворили?! Че натворили?! – подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом. Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на «медведя», бывшего ближе, но он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее не достало сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и Катерина, и Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул, кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в грудь «медведю» – острым суковатым батошкой, другой рукой, оттянутой назад, как наизготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те, отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще большей силой.

– Че с имя разговаривать – порешить их за это тут же. Место самое подходявое.

– Чтоб знали, нехристи.

– Зачем место поганить? В Ангару их.

– И руки не отсохли. Откуль такие берутся?

– Как морковку дергали... Это ж подумать надо!

– Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.

– Кур-рвы!

Второй мужик, помоложе, по-петушину вскидывая голову и вертясь из стороны в сторону, старался перекричать народ:

– Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда. Мы не сами.

– Врет! – обрывали его. – Тайком приплыли.

– Дайте сказать, – добивался мужик. – Не тайком, с нами представитель приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь.

– Не может такого быть!

– Отведите нас в деревню – там разберемся. Они там.

– И правда, в деревню.

– Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.

– Никуды от нас не денутся. Пошли.

И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились; старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул вприпрыжку, как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей палкой. Тот, оборачиваясь, рывал – Богодул в ответ щерил в довольной ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая процессия – ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три погибели старики и старухи, семенящие и кричащие в едином запале, поднимающие с дороги всю пыль, – толпа эта при входе в деревню столкнулась с двоими, которые торопились ей навстречу: один – Воронцов, председатель сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке, и второй – незнакомый, конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.

– Что такое? Что у вас происходит? – еще издали, на ходу потребовал Воронцов.

Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и протолкались к цыганистому.

– Мы, значит, делаем что надо, а они набросились, – взялся объяснять ему молодой.

– Как собаки, – подхватил верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе Богодула. – Я тебе... пугало огородное...

Он не закончил. Воронцов перебил его и старух, которые на «собак» отозвались возмущенным гулом.

– Ти-ше! – с растяжкой скомандовал он. – Слушать будем или будем базарить? Будем понимать положение или что будем?.. Они, – Воронцов кивнул на мужиков, – проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук – лицо официальное.

– А ежели он лицо, пушай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот он, лицо. Кто велел наше кладбище с землей ровнять? Там люди лежат – не звери. Как посмели над могилками галиться? Нам пушай ответит. Мертвые ишо сами спросят.

– Такие фокусы даром не проходят.

– Царица Небесная! До чего дожили! Хоть топись от позору.

– Слушать будем или что будем?.. – повторил Воронцов, взяв тон покруче.

Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомятятся. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка эта доставалась непросто, если представить еще, что объясняться таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он неторопливо и уверенно, с какой-то даже снисходительностью в голосе:

– Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление, – знал Жук силу таких слов, как «решение, постановление, установка», хоть и произнесенных ласково, – есть специальное постановление о санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ... Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию...

Дед Егор не вытерпел:

– Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?

– Я и отвечаю, – дернулся Жук и от обиды заговорил быстрее: – Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди... Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать и об этом...

– А о нас вы подумали? – закричала Вера Носарева. – Мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку на земле после этих твоих бороздов подобрала. Это как? Где я теперь ее могилку стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут... это когда твои пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов... – Вера задохнулась. – Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней. Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать...

– Когда под конец? У нас семьдесят точек под переселение, и везде кладбища. Не знаете положения и не говорите. – Голос у Жука заметно потвердел. – Да восемь кладбищ полностью переносятся. Это и есть под конец. Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет.

– Ты арапа не заправляй. – Знали в деревне: деда Егора расшевелить трудно, но расшевелится – только держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. – Откулева пришли, туды и ступайте, – отправлял он. – К кладбищу боле не касайтесь. А то я берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье к людям иметь, а не однуё шляпу. Ишь заявились, работку нашли! За такую работку по ранешним бы временам...

– Да они что?! – Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. – Они, кажется, не понимают... Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у нас происходит?

– Кур-рва! – высунулся Богодул.

Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:

– Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!

– А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, – оборвал его дед Егор, подбираясь ближе. – Ты сам тутака без году неделя. Сам турист... ране моря только причапал. Тебе один хрен, где жить – у нас или ишо где. А я родился в Матёре. И отец мой родился в Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я тутака, ты надо мной не крыль. – Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. – И меня не зори. Дай мне дожить без позору.

– Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим.

– Иди-ка ты!.. – понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше.

– Это другое дело, – согласился Воронцов. – Так и запомним.

– Запоминай. Не шибко испугался.

– Защитничек нашелся.

– Много вас таких!..

– Убирайтесь, покуль до греха не дошло.

Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под нос Жуку фотографию матери – он отстранялся и брезгливо морщился; с другой стороны на него наседали Дарья и Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв черные как смоль и кудрявые волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим, – казалось, вот-вот он не выдержит и по-цыгански, с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех. Старуха Катерина взяла в оборот Воронцова, наскакивая на него и повторяя: «Нету таких правов, нету таких правов». Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникла Тунгуска, все это время молчаливо пыхающая трубкой, и молчаливо же показывала ему, чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный, основной голос, гудел дед Егор. И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но Богодул рыкнул и замахнулся. Случившийся рядом дед Егор посоветовал верзиле:

– Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного обухом погладил...

– Уголовный, что ли? – заинтересовался верзила.

– Но-но.

– Я, может, сам уголовный.

– Ну, тогда спытай. Мы поглядим.

Но верзила, помявшись, покосившись еще на Богодула, который подмигивал ему жутким, как горящим, красным глазом, побежал догонять своих. Через час все четверо отплыли с Матёры.

...А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки.

#### 4

Мало кто помнил, когда Богодул впервые появился в Матёре, – теперь уж казалось, что он околачивался здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек еще от тех, прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда Богодул лишь заплывал, заворачивал в Матёру со своих дорог по береговым деревням. Знали его тогда как менялу: менял шило на мыло. И верно, наберет в сидор ниток, иглоков, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек и обменивает на яйца, масло, хлеб, больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне, и что требуется по хозяйству, не вдруг под руками, а Богодул уж тут, уж стучит: не надо ли этого, того? Надо, как не надо! И зазывали

Богодула, поили чаем, делали заказы, подкладывали к десятку яиц еще два-три, а то и все пять, курицы у всех – яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в оборот. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но кормился, и кормился, пока носили ноги, вроде неплохо.

Или привечали Богодула в Матёре больше, или по другой какой причине приглянулся ему остров, но только, когда дошло до пристанища, Богодул выбрал Матёру. Пришел, как обычно, и не ушел, приклеился. Летом еще, бывало, отлучался ненадолго – видать, привычная бродячая жизнь брала свое, куда-то гнала, что-то вымаливала, но зимой оставался безвылазно: неделю проживет у одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане – там, глядишь, опять весна, а с теплом Богодул перебирался в свою «фатеру», в колчаковский барак.

Много лет знали Богодула как глубокого старика, и много уже лет он не менялся, оставаясь все в том же виде, в каком показался впервые, будто Бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений. Был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполне могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью глаза. От снега Богодул шлепал босиком, не разбирая ни камней, ни колючек; ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них, настолько затвердели, что казались окостеневшими, будто на старую кость выросла новая. Одно время ребятишки наловчились ловить змей: прижмут рогаткой к земле и хватают возле головы, бегут пугать девчонок и баб; увидев раз выпущенную ненароком, ползущую по дороге тварь, возле которой прыгала ребятня, Богодул, не долго думая, подставил ей голую ступню – змея ткнула и не проткнула, ударилась как о камень. С того случая мальчишки нашли новую забаву: всех пойманных змей доставляли Богодулу, а он, сидя на валуне возле своего барака и руками приподняв ногу, дразнил их, хехекая как от щекотки, когда змея в мгновении прыжке пыталась проколоть его твердь, и блаженно приговаривал:

– Кур-рва!

Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой человек не смог бы обойтись. Богодул прекрасно обходился. Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало, это был даже не разговор, а нехитрое объяснение того, что нужно, множества приправленное все той же «курвой» и ее родственниками. Мужики, бывало, матерились почудней, позаковыристей, но никто не ругался с такой сластью: он не выпускал как попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его лаской ли, злостью. И то, что у других выскакивало как пустячное и привычное ругательство, которое и до ушей не доходило, опадало по дороге, у Богодула заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора. Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами – правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку.

Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал, но только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встречать, привечать.

– Здорово, Дарьюшка! – гудел он сиплым, будто дырявым, голосом.

– Дравствуй-ка, – со сдержанной радостью отвечала она. – Пришел?

– Как бог. – И мат.

Дарья крестилась на образ, прося у Господа прощения за все, что сказал и скажет старик, и торопилась ставить самовар.

– Настасья! Иди чай пить, Богодул пришел! – кричала она через прясло. – Гаркни там Татьяну, пушай тоже идет.

А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще блажной, подъедала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего – черт его поймет, что за человек, этот старуший приворотень. Она своему, родному на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, и верно как Бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех их своим грешным, христардным видом. Ворчали старики:

– От каторжник! (жил слух, что Богодула в свое время сослали в Сибирь за убийство) – ворчали, но терпели: и со старухами лучше не связываться, и он человек все-таки, не собака. Хоть и бесполезный, зловредный человек, каких поискать по белому свету.

В последние годы, когда пошли слухи, а затем и началась суета с переселением, Богодул был единственным, кого они словно бы никаким боком не касались, – или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь, пристроиться возле старух и на новом месте. Для них вся жизнь теперь состояла только в этом, и о чем бы ни заходил разговор, в какое бы время ни перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним! – подступающим затоплением Матёры и скорым переездом. Богодул сидел тут же, с шорканьем, будто камень тер о камень, чесал свои донельзя заскорузные ноги или, шумно гоня воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо сипел:

– Не имеют пр-рава.

– Да как не имеют, ежели имеют, – с досадой и надеждой набрасывались на него старухи. – Нас, че ли, спрашивать будут?

– Не имеют. Потоп... кур-рва... на людей... не имеют. Я закон знаю.

И, поднимая над головой грозящий палец, смотрел на него с требовательной злостью.

– Ты-то, христовенький, куда денешься? – с жалостью спрашивали старухи.

– С места ни ногой! – выкрикивал Богодул. – Японский бог! Не имеют пр-рава. Живой, кур-рва!

– Дак ты один воду не остановишь, ежели ее подопрут. Че-нить с тобой доспеют, куда-нить отправят.

– Живой... кур-рва! – упирался он.

На другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарье не к вечеру, как обычно, а с утра – она не поднялась ему навстречу, не заговорила, сиднем сидела на топчане, остыло склонившись и опустив меж колен сцепленные вместе сухие, с торчащими костяшками выделанные работой руки. Богодул покрякал, устраиваясь на лавке у двери, – новую, магазинскую мебель Павел еще по льду перевез на совхозную квартиру, здесь оставалось старье, – покрякал-покрякал Богодул, что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда заговорит Дарья. Но она, не выказывая охоты ни к разговору, ни к чаю, молчала, время от времени тяжело вздыхая и так же тяжело, не одним махом, поднимая на Богодула невидящие, глядящие куда-то сквозь глаза, будто не узнавала Богодула или не понимала, зачем, по какой надобности он здесь.

Утро было позднее и тихое; солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе: свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда, в одно место для слуха, а оттекали в стороны. В нетопленной избе было тепло срединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не прохладно – неощутимо вовсе, как во сне; устало и нудно звенели в окнах и бились о стекла мухи; пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом, приготовленного для скотины и не вынесенного; с вечера не убрано было со стола, и все так же нетронутым стоял налитый вчера для Богодула стакан с чаем. Теперь Богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил – Дарья шевельнулась и спросила:

– Новый, ли че ли, поставить?

Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А взявшись за край дела, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам, которые всполошенно и шумно

бросились на корм, убрала со стола и к той поре, когда в сенях зашумел самовар, опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроила его на конфорку. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья наконец заговорила – безжалобно и просто, будто только что на минутку пресекалась и теперь продолжала дальше:

– Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет, банку с-под подоюника выпьет и опеть в лодку, опеть нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко – вот и возьму выпью кружку, чтоб не пропадало. Ниче, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку тот же чай, ан нечем, поминай как звали.

Она разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла, затем, уловив, опять опустила ее и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей, острым губам. И круто повернула разговор:

– Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого – Господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи?! – Дарья глянула на образ, но не перекрестилась, задержала руку. – Все вместе: тятка, мамка, братовья, парень – однуё меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, затопят, раз уж на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет.

Тятка говорил... у нас тятка ко мне ласковый был. Говорит: живи, Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо – живи, на то тебе жить выпало. В горе, в зле будешь купаться, из сил выбьешься, к нам захочешь – нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы были. К нам, говорит, ишо никто не обробел, не было и не будет такого разини. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране собраться, я давно уж нетутошня... я тамошня, того свету. И давно навроде не по-своему, по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу. Нонче свет пополам переломился: евон че деется! И по нам переломился, по старикам... ни туды мы, ни сюды. Не приведи Господь! Оно, может, по нам маленько и видать, какие в ранешное время были люди, дак ить никто назадь себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут... Запыхались уж, запинаятся на каждом шагу – нет, бегут... Куды там назадь... под ноги себе некогды глянуть... будто кто гонится.

– Японский бог! – согласился Богодул.

Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и неторопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая слова наугад, говорила и говорила, не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая его то туда, то сюда.

– Без чаю-то худо, – от удовольствия, что пьет его, признавалась она. – Навроде отошла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того тошно... мочи нету. Через силу подоила корову, а то уж она, бедная, изревелась, выпустила ее – окошек не вижу, одна темень в глазах. Думаю: надо самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятки, у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как вспомню, как вспомню про их... сердце оборвется и захолонет – нету. Я от себя качну – навроде раз, другой толкнется, подоржится и опеть... как на память найдет... опеть остановится. Ну, думаю, куды оне меня повезут, где спрячут? Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дни полсажени земли искали, чтоб похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище опосле все равно другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в стороне... далеко, говорят, в стороне. Каково ему, маленькому, в лесу со зверьем? Спасибо он потом отцу-матери за это скажет?

У нас тятка с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо, ежли со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскакком взяла. С утра ишо ходила, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как закричит лихоматом: «Ой, смерть, смерть давит!» А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а зная, че делать, ни у кого нету, руками без толку машем да чекаем: «Че, мамка, где, че?» Она прямо на глазах у нас посинела, пятнами пошла, захрипела... Приподняли, посадили ее, а уж надо обратно класть. На шее следы навроде как остались, где она навроде душила... так и влипло. Тятка опосле говорил: «Это она на меня метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась». Вот он у нас долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили на мельнице новый жернов, и он под его... нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболее подержался, ежли берегчись, дак берегчись-то никак и не умел, ломил эту работу, что здоровый, не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой, под Рожество, а его близко к этой поре, за Троицей. Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили тяткин. Царствие вам небесное! Жили вместе и там вместе, чтоб никому не обидно.

На острове у нас могила есть... Тепери-то ее без догляду потеряли, гдей-то пониже деревни по нашему берегу, на угоре. Я ишо помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидал Матёру и велел подгрести. И до того она ему приглянулась, Матёра наша... пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острове, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву Христовую». Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был... целые тыщи – то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря говорить...

Тятке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал... он говорит: «Ты, Дарья, много на себя не бери, – замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть». Раньше совесть сильно различали. Ежели кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили. Народ, он, конечно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее чрез край привалит, тоже не радость от такого богатства. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет да ишо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, и делал. На его сватья грешит: «Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек». А он правда что простофиля: «Люди просят...» Ну и запустил свое хозяйство... «Люди просят» – хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуна – он туды свою голову... – Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее: – Я вечер без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее своротили? Над ей звездочка покрашенная была, сын с городу жалезную тумбочку привез, а сверху, как птичка, звездочка. Надо седни проверить. Господи, догони ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть в белом свете грех, какой ишо надо грех? – Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет – три протянула Богодулу и две оставила себе. – Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка, в войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай Бог, ежли мы для ребят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету.

– Вино – ык! – подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел.

– Пушай его дьявол пьет, – согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. – Че я заговорила про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся изнасилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей – совестливый, кто без ее – бессовестный. Тепери холера разберет, все сошлось в одну кучу – что то, что другое. Поминают ее без пути на каждом слове, до того, христовенькую, истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же – вот и истончили ее, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больни-х-то делах совесть, однако что, железная, ничем ее не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, Господи! Че про совесть, ежли этакое творится!

Я ночесь опосля вечерошного не сплю и все думаю, думаю... всякая ахинея в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чой-то стрясется, вот-вот стрясется. И не могу – до того напряжилась от ожидания... Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою – то ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо чо. От страху в избу обратно, как маленькой, охота, а стою, не шевелюсь. Слышу: там дверь брякнет, там брякнет – не мне одной, значит, беспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да жаркие – страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне... Закружили меня звездочки... навроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али унеслась куды-то. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назадь поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа осветилась. «С чего, – думаю, – че было-то?» И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. «Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится», – навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу.

У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно примали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт – свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнетя, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахают, и хахают на всю Матёру, а он сидит – голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие – не здря говорят: у кого зубы редкие – вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет – откуль че берется! До улежки мужиков доводил. Но и работающий был, ой, работающий! Где кол забьет, там чо-нить да вырастет. Дак вот, Дунька за Генкой Пресняковым замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта уж выродилась, не в тятку свою: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за словом в карман тоже не лазили – ну и одного, как шпиена ерманского, чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, живой ли тепери, не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго ли спросить?

Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой пляли: с Матёрой породниться кажный рад. У нас извеку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили, brave – не залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матёры. Мамку мою тятка тоже привез откуль-то с бурятской стороны. Как он ее дразнил: ой-ё-ёк. От с этого самого ой-ё-ёка, али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости, тятка рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А куды от ее деться – кругом Ангара. На Подмогу передти

и то надо вплавь, а у нас там, на Подмоге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы над ей посмеивались, нам-то Ангара – своя, с сызмальства на ей, а мамка говорила: «Ой, будет, будет на меня беда, зря никакой страх не живет». Да нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода – не нам одним, всем разор. Только шас мамкин страх наверх вышел, что не зряшный он был... он когда... шас... – Дарья растерянно запнулась; уронив голос, едва слышно и потерянно закончила: – Он ка-ак: догонит все ж таки мамку вода. А мне и не в ум. Он ка-а-ак...

Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было давно знать, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь, Дарья отставила чай и без мысли, с тупой устремленностью стала шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненужное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на вышорканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках – везде, куда попадал этот свет, казалось сиром и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью. Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник – ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опал вниз. По открывающемуся в окне отрубку Ангара жуком проскочила с жужжаньем моторная лодка, заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее небо. И чем больше смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не выделяя в отдельности, тем беспокойней ей становилось. И сильней набиралась досада, что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера... корило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на стороны.

Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:

– Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись – боле некуда. Тепери ты иди, еж л и надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с разговором, а об чем говорить... Наши разговоры как мякина – ни весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время...

– Дарья, куда? – строго спросил Богодул, задирая голову.

Она на минутку замешкалась и отказала:

– Нет, нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна.

Куда «туды»? – она и близко не знала и, выйдя за ворота и в раздумье подержавшись возле них, тронулась было к Ангаре, наперед догадываясь, что повернет, и повернула, вышла возле огородов за деревню – ноги несли ее к кладбищу. Но и до кладбища она не дошла, сказалось ей, что ни к чему идти туда с нетвердой душой, смущать покой мертвых, и без того возмущенный вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом – нет его, и не родится оно; не отзовутся они. Вконец потерявшись, она опустила без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям, и, отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась раз, и другой, и третий...

Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангаре, и дальние чужие берега, и свою Матёру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с Подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта, и лишь у самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно; левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матёре, свисая с ее крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в Матёре так и называли: своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки, ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили.

И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Но от края

до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от материка, держала она в достатке – не потому ли и назвалась громким именем Матёра? И тихо, потаенно лежала она – набиралась соков раннего лета: на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими, за ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся, с темными пятнами елей и сосен; поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к Подмоге. Ближе леса и левой от дороги огорожена была с двух сторон поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми, – там бродили коровы, и тонко брнчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (лиственъ – на «он» звали ее старики), с прямо оттопыренными, тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного ли вида или онемев от казни, береза; Дарья хорошо помнила ее еще молодой, помнила березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела, разваливаясь, кора и обвисли, запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и пусто на выгоне – остальное оборвал и вытоптал скот.

Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом, – поля с высокими осиновыми переборами, покатым сырой правый берег в тальнике и смородине и ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за такую опору, она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие – высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновенья легкую известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для какой-то игры, по три-четыре вместе. Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоялся сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в той же целостности-сохранности. А бывало, вся деревня запрягала коней и ехала сюда по горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень, по имени Проня, не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет.

Видела Дарья на память и дальше: снова поля по обе стороны от дороги, на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего сушины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьменными пластами – сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающегося без надобности, но догнивающего медленно и неохотно. Как с ним быть? Что делать? Тут ладно, тут все уйдет под огонь и воду, а как в других местах? И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъемен. Дерево еще туда-сюда, оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города, всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба – досаждать другим. «Так ли? Так ли?» – со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.

...А там – тупая оконечность Матёры, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на Подмогу или Подногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот: колхозное стадо там и летовало каждый год, но как поднимется, задурит река – держись и в лодке. Нос

Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит за Матёру, будто когда-то нижний остров вознамерился обойти передний и уже разогнулся, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось Матёре брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки.

И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени. Кругом сонно и терпеливо и кругом безгласно – молчком лежит слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях, окнами; застыл на поскотине обезглавленный «царский листвень», слепо растопырив огромные ветви со своими ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля; жидкими, не в полный лист и не в полный рост кажутся леса, и, конечно, тоже молчком, убого и властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселения, – кладбище, пристанище старших...

Скоро, скоро всему конец.

Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может, так и надо? Отступая от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что «так и надо»? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они поспеют за ней, – нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она.

Где-то за спиной на большой Ангаре прокричал пароход, и с какого-то одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. «На море-океане, на острове Буяне...» – некстати вспомнилась Дарье старая и жуткая заговорная молитва.

## 5

Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидела, как Павел вошел в ограду и скинул с плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:

– Подчистили картошку-то?

– Подчистили.

– Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взяли – надолго ли вам, едокам!

– Побольше-то – издрябла бы, – отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.

– Издрябла? – удивилась Дарья. – Ты сказывал, там подполье есть.

– Есть, – кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. – Есть подполье, есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем, хоть насосом качай.

– Но-о-о! Дак пошто ставили, где вода? Пошто недосмотрел-то, че давали?

– А там досматривай не досматривай... у всех вода. Никакой Ангары не надо.

– Это че деется! Дак пошто так строились-то? Пошто допрежь лопатой в землю не ткнули, че в ей?

– По то, что чужой дядя строил. Вот и построились.

– Ишо чудней.

И замолчала Дарья: одно к одному. Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ? Это только ребятишки спрашивают: почему хлеб называется хлебом, а дом домом? Потому что у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли другие слова, и что изменится оттого, если кто-то знает,

откуда они взялись? – был бы хлеб, был бы дом и не было бы того, чтобы человеческое жильё ставили на слепые глаза!

Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтоб не воняли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая перед собой белые надрыбшие ноги. В этом году по весне, незадолго до Пасхи, ему сровнялось пятьдесят – был он у Дарьи теперь старшим, а по порядку вторым сыном, первого прибрала война. И еще одного сына лишилась она в войну, тот по малолетству оставался дома, но и здесь нашел смерть, на лесоповале за тридцать километров от Матёры. Привезли его домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию: она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужика, близко уж было, и всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила она, что это бывает сослепу: на кого, не видя, падет – тот упадет; нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И была, была непонятная и страшная правда: из трех похороненных Дарьиных детей все трое успели вырасти и войти в жизнь – один годился для войны, другой для работы, третья – старшая дочь, скончавшаяся в Подволочной при вторых уже родах, жила своей семьей. В Подволочной – значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю в общей могиле вместе со многими, быть может, останется в земле – кто знает, как у них там с землей и водой, чего живым требуется больше?

И столько же, трое, осталось у Дарьи в живых: дочь в Иркутске, сын из старого, дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к Матёре, и вот Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй что, чтут мать: те, что на стороне, пишут и зовут в гости, Павел сам грубого слова с нею не знает и жене не велит знать. Не всякому удается на старости такая судьба – что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение от родных к старикам, – самая первая для них важность.

Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого, наверное, что заметил – пол не подметен, спросил:

– Как ты тут управляешься? Вера не приходит?

– Вера когда зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я шас запустила. Вечор к корове и к той не подошла, от всего отступилась.

– Захворала, что ли?

– Дак оне че творят-то, Павел?! Че творят-то?! Уму непостижно! – стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клохчущих рыданиях.

Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда, чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем, особенно напирая на слова Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел, низко склонившись с опущенными меж колен по-стариковски руками, застыв на трудной, непроходящей думе.

Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:

– Может, хошь деда с бабкой твоих перенесли бы... а, Павел? Кольцовы с собой увезли своих... два гроба. И Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно конешно, грех покойников трогать... Да ить ишо грешней оставлять. Евон че творят! А еж ли воду пустют...

– Сейчас не до того, мать, – ответил Павел. – И так замотался – вздохнуть некогда. Посвободней будет – перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорюсь, чтоб не одному, и перевезем.

И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то востепенувшись, спросила уже о другом:

– Косить-то нонче будете, нет?

– Не знаю, мать. Ничего пока не знаю.

Она пожалела его, не стала вязаться с расспросами.

Но она неспроста все-таки заговорила о косьбе: пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и неближних, что дома там ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами и отдельным жильем, а квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как висячая, лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадавшие: пьяный Самовар – так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера, – шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатила и повредила голову. Ну так еще бы – привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что, если доведется ей жить в таком доме, наверх подыматься, смерть свою искать она не станет. А квартиры, хвастают, красивые, стены в цветочках-лепесточках, на кухне, что в городе, не русская печь с дровами да углями, а электрическая плита с переключателями; через стенку, чтоб на улицу не бегать, туалет, а наверху, если кто подымет наверх, две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания.

Это жилье. А рядом – тут же, во двореке, вплитык к стене, огородик на полторы сотки, на который требуется возить землю, чтобы выросло что-то, потому что отмерен он на камнях и глине, – и это было тоже диковинно: отчего так шиворот-навыворот – не огород на земле, а землю на огород. И что это за огород! Полторы сотки – курам на смех! Для куриц, кстати, есть закуток, есть закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но пришли из поссовета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку. Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно вожжались с конями. Из цыгана скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью отмахивался:

– Позволят... Дело не в стайке...

Понятно, что пуще всего дело в сене: на новом месте ни покосов, ни выгонов не было, и чем там кормить не только личный, но даже общественный скот, никто толком не знал. Под поля корчевали; тайга на десятки верст гудом гудела от машин, до угодий руки еще не дошли. Для того чтобы отучить землю от одного и приучить к другому, требуются годы да годы. На первую зиму можно, конечно, накосить на старых землях, и это короткое и ненадежное «можно» больше всего расстраивало и смущало людей: на одну зиму можно, а дальше? Что дальше? Не лучше ли попуститься сразу? И как опять же попуститься, если привыкли к корове, в самые тяжелые годы кормились-поились ею, и если есть все-таки это на одну зиму «можно»? Можно-то можно, но сколько, с другой стороны, в нем всяких ям, в которые легче легкого завалиться: как выкроить время, чтобы косить, – это ведь не колхоз, где у каждого такая же забота и где ее понимали; как, накосивши, переплавить сено через Ангару, пока она не разлилась, и как там поднять его в гору? А если все же ухитришься и накопишь, переплавишь, поднимешь, привезешь – куда его ставить? И куда опять же ставить корову? Столько всего, что поневоле опустятся руки: пропади оно все пропадом!

Нет, этот последний, переломный год казался страшным. И особенно страшным, несправедливым казалось то, что он, как всегда, обычным своим порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и ничем это «что будет» оттянуть было нельзя. Потом, когда оно состоится, когда очутятся они в новой жизни и определится, кем им быть – крестьянами ли, но какими-то другими, не теперешними, или столбовыми дворянами, когда впрягутся они в лямку этой новой жизни и потянут ее, станет, наверно, легче, а пока все впереди пугало, все казалось чужим и непрочным, крутым, не для всякого-каждого, вот как эти лесенки, по которым один поднимется шутя, другой нет. Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегают наверх – потому-то молодые легче расставались с Матёрой.

Клавка Стригунова так и говорила:

– Давно надо было утопить. Живым не пахнет... не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить – середь воды... как лягушки.

И ждала, не могла дожждаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила, и ушла не оглянувшись, но с той и другой стороны лепились к Клавкиной постройке такие же избы, где жили еще, не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них. Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матёру и матёринцев, которые цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и молнии.

– Подожду, – грозила она, приезжая из совхоза. – Мое дело маленькое. Не хотите уходить, хотите гореть – горите. А я из-за вас страдать не собираюсь.

Тем же – как скорей получить вторую половину причитающихся за усадьбу денег – озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходили по Матёре и простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину избу жестяную пластинку: «Памятник деревянного зодчества. Собственность Ак. наук». Петрухе сказали, что его избу увезут в музей, и он поначалу очень загордился: не чью-нибудь, Петрухину избу выделили и отметили, люди станут платить деньги, чтобы только посмотреть, что это за изба, какой редкой и тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на заборках, какие в ней полати, из каких она сложена бревен. И хоть на мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и мангазее, а тут жилая изба – ну разве можно сравнивать? Пока это временная пластинка, там, в музее, будет другая: «Изба крестьянина из Матёры Петрухи Зотова...» – или нет: «...крестьянина из Матёры Никиты Алексеевича Зотова». Все станут читать и завидовать Петрухе – Никите Алексеичу Зотову. При рождении его действительно назвали и записали Никитой, а при жизни за простоватость, разгильдяйство и никчемность перекрестили в Петруху. Теперь никто уже и не помнил, что он Никита, родная мать и та называла Петрухой, да и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека особенного, прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное имя, а в каждодневном своем житье-бытье обходился Петрухой. Но уж на дощечке, на надписи он, как полагается, должен быть при полном величанье.

Но проходили месяцы и месяцы, люди, которые облюбовали Петрухину избу, не давали о себе знать, и Петруха забеспокоился. Аванс, половина компенсации за избу, был давно прожит и пропит, для получения второй половины требовалось, чтобы Петрухиной избы как таковой на месте не существовало. Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтобы «Ак. наук» забрала свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею – черт с ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке, – получить бы деньги. Петруха после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшибал копейки чем попадая и жил с матерью впроголодь, а в это время где-то в ведомости напротив его фамилии стояла круглая цифра – тысяча рублей, целое состояние. Дело оставалось за небольшим – убрать избу. Не будь этой «Ак. наук», он бы мигом убрал: Петрухина усадьба стояла наособицу, так что за соседей можно было не тревожиться. Но «собственность Ак. наук» покуда его тоже удерживала. Печатными буквами

пробито, что не его, не Петрухина, собственность – не напоротья бы на неприятность. Вот как: изба Петрухина, а собственность не Петрухина – поди разберись, кто ей хозяин. И ему не дают, и сами не берут.

– Они у меня дождутся, – угрожающе кивал Петруха куда-то далеко вверх Ангары. – Дерево не железо, оно само может пыхнуть. Потом спрашивай, чья собственность. Дождутся.

Вот они, Клавка с Петрухой, да еще, наверное, кой-кто из молодых, кто уже уехал и не уехал, переменам были рады и не скрывали этого, остальные боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено, тут даже и смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто – как оплачут, куда отнесут, с кем рядом положат, там – полная тьма что на этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел и Дарья принималась расспрашивать его, он отвечал неохотно и как бы виновато, словно боясь ее испуга, того, что новое не способно вместиться в ее старые понятия.

– Баня, говоришь, на всех одна? – ахала она, пытаясь представить, что это за баня. – Ишо не легче! На столь народу одна?.. Свою-то нельзя, ли че ли, поставить?

– Где ее там ставить?..

– Господи! Я, кажись, грязью лутче зарасту, чем в этакую оказину идти.

А тут еще одна новость: в подпольях вода. Если она есть теперь, будет и на тот год – нынче и лето не сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли есть куда его поднимать, делать из него лунку с деревянным настилом. Так на огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля – курицы вскопают, и они же приберут.

Помянешь, ох, помянешь Матёру...

## 6

А когда настала ночь и уснула Матёра, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек – Хозяин острова. Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле. На то он и был Хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было остаться Хозяином – чтобы никто его не встречал, никто о его существовании не подозревал.

Еще раньше, выглядывая из норы, из своего давнего убежища на берегу мельничной протоки, он видел, что с вечера взошли и скоро погасли звезды. Быть может, они были где-то и теперь, потому что стекал же сверху серый сумеречный свет и откуда-то он должен же был браться, но даже его острые глаза не различали их. К тому же он не любил смотреть в небо, оно вводило его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало своей грозной бездонностью. Пускай туда смотрят и утешаются люди, но то, что они считают мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рисованных мыслях – только воспоминания. Мечтать никому не дано.

Ночь была теплая и тихая, и, наверное, в другом месте – темная, но здесь, под огромным надречным небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчание воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях, шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески запоздало играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки Ангары, услышав, распознав которые можно было услышать и звуки острова: тяжкий, натужный скрип старой листовницы на поскотине и там же глухое топтание пасущихся коров, сочную, сливающуюся в одно звень жвачки, а в деревне – непрестанное шевеление всего, что живет на улице, – куриц, собак, скотины. Но и эти звуки были для Хозяина громкими и грубыми, с особенным удовольствием и особенным чутьем прислушивался он к тому, что проис-

ходит в земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся на охоту, притаенной возне пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихам качнувшейся ветки, которая показалась ночной птице неудобной, дыханию возрастающей травы.

Выскочив из норы и прислушавшись, привычно осознав все, что творится кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью Хозяин повел свой путь по острову. Он не держался одной дороги, сегодня мог бежать левой стороной, а завтра правой, мог с половины земли, откуда-нибудь от сосновой рощи, повернуть назад, а мог добежать до конца или даже пробраться на Подмогу и часами оставаться там, проверяя и ее жизнь, но никогда он не пропускал деревню. Чаще всего всякие изменения происходили в ней. И хоть предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина, не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, Хозяин здесь он.

Он взбежал на бугор, рядом с тем местом, где сидела днем старуха Дарья, и, подняв голову, осмотрелся. Покойно, недвижно лежала Матёра: темнели леса, водянисто серебрилась по земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами чернела деревня, где ничто не стучало и не брнчало, но словно бы подготавливалось к стуку и бряку. Дневное тепло выстыло, и от земли вставали прохладные, с горьковатыми проточками запахи. Откуда-то прорвался слабый и тяжелый дых ветра, охнул и сел – как волна, втянутая в песок. Но длинней и тревожней скрипнула старая лиственница, и ни с чего, будто спросонья, слепо мыкнула, как мякнула, корова. Далеко в береговых зарослях смородиновый куст, прижатый книзу другим кустом, наконец освободился от него и, покачиваясь, встал в рост. Хлинула вода: или лопнул плававший с вечера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба – по траве пробежала и убежала узкой полоской незнакомая рябь, и только теперь сорвался с березы, что рядом с лиственницей на поско- тине, последний прошлогодний лист.

Хозяин направился в деревню.

Он начал ее обег, как всегда, с барака на голомыске, где жил Богодул. Длинный и низкий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и присутствие Богодула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится. В Матёре были постройки, которые простояли двести и больше лет и не потеряли вида и духа, эта едва прослужила полвека. И все потому, что не было у нее одного хозяина, что каждый, кто жил, только прятался в ней от холода и дождя и норовил скорей перебраться куда попримичней. Богодул тем более не хозяин, хоть перебираться ему никуда и не придется.

Богодул спал в крайней к деревне комнате. Сквозь окно и стены доносился его могучий, на два голоса, туда и обратно, храп, прислушавшись к которому Хозяин уже не в первый раз почувал: здесь, в Матёре, и достанет наконец Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин тоже, последнее лето.

Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но постепенно своротом с носа острова натащило сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь бестечье с илистым дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягиваясь во всю свою ширь, там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельно изба Петрухи Зотова. Знал Хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горький запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим истаянием, но у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя.

Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы. По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие токи. «Ток-ток-ток, – стонала изба, – ток... ток... ток...»

Он прислушался и, послушав, крепче прижался, успокаиваясь, к теплому дереву. Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то надо и начинать. Все, что живет на свете, имеет один смысл – смысл службы. И всякая служба имеет конец.

Он поднялся, отодвинулся на несколько шагов к дороге и оглянулся на низкие, под красивыми кружевными наличниками, окна. Низкие не потому, что осела изба, а потому, что поднялась за век ее земля. Там, за окнами, мутным истерзанным сном спал Петру ха и спала на русской печи, и среди лета грея старые кости, мать его – Катерина. Катерина, Катерина... Кто скажет, почему у путных людей рождаются беспутные дети? Одна утеха, что годы твои на исходе.

Там, где деревня пошла сплошным порядком, Хозяин замедлил свой бег, часто оставившаяся, приносившаяся и прислушиваясь. Он не боялся: ни собаке, ни кошке не дано его почуять, он не хотел пропустить то, что могло измениться здесь со вчерашней ночи. Вчера он решился войти в деревню только под утро, но и тогда стонали без сна и мучились старые люди, напуганные и изнуренные содеянным на кладбище, в надежде и страхе ожидающие кары. Сегодня, похоже, деревня успокоилась и уснула.

Спала деревня: не лаяли, как вчера, собаки, не скрипели двери и не доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами, но когда Хозяин приближался к какой из них, она отзывалась протяжным, на свой голос, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готова. Были среди них и нестарые, ставленные и тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и вращаться в землю, но и они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу, подвигаясь к ней под короткой летней ночью еще на один шаг. Так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня, показав на прощанье, сколько в них было тепла и солнца, потому что огонь – это и есть впитанное и сбереженное впрок солнце, которое насильно изымается из плоти.

Ночь нарастала, но была по-прежнему мерклой, без теней. От близкой воды волнами доносило стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустения и гнили. Подбегая к постройкам, Хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло, набранное за день, но сегодня оно было сдержанней и слабей, – верно, солнце завтра не выйдет.

Спала Матёра-деревня. Старухам снились сухие тревожные сны, которые слетали к ним уже не по первой очереди, но старухи о том не знали. Только ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, – приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше, тем, кого помнили они. И много что в беспомощности и освобожденности говорят живые, но, проснувшись, не помнят и ищут последним зрящим видениям случайные отгадки.

Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние-предальные зарницы, и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто в эту ночь не миновал снов: тяжело жалобились, рассказывая о последних днях, старухи.

Обежав из конца в конец деревню, Хозяин повернул за улицей влево, к высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней, в распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали; стеклянно взблескивала и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась Ангара; посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил прислушиваться к этому нутряному, струйному звучанию текущей реки, которое днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней. Оно возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку, но Хозяин знал, что скоро оно оборвется и будет здесь, над заглушенной водой, гудеть только ветер. Вспомнив об этом, Хозяин повернул в глубь острова.

Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а, набравшись до краев, творила над Матёрой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с

одной, то с другой стороны ветерок и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, и по ней Хозяин определил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь.

Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хлеба и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени, шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы.

Остров собирался жить долго.

## 7

И дни наступили длинные, пологие, ни конца ни края, а все равно срок, назначенный дедом Егором для отъезда, подступил так скоро, что и правда не успели оглянуться, когда и куда проскочили последние дни недели. И то уж Настасья после Троицы потянула три дня – кончились и они...

Уезжать пало на среду. Никакой, поди, разницы, когда уезжать, но верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья больше любила четверг: он казался удачливей, но от четверга было ближе к концу недели, а значит, к другому берегу, к другой жизни, откуда трудней добираться.

Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь – электричество в Матёре отключили еще весной, машину, которая гнала его, куда-то увезли, и матёринцы опять перешли на керосин. Да и как было спать в последнюю ночь, где взять для такого сна покою? Где взять недумы, нежити, чтобы уснуть? То и дело она спохватывалась, что забыла одно, другое, бросалась искать и не находила, с причитаньями обшаривала на десять раз углы, обыскивала сени и кладовку, шла со свечкой в амбар, развязывала и разваливала наготовленные уже узлы, натыкалась наконец на потерю и тут же хваталась другую. Если даже ничего не теряла, все равно ходила и искала, боясь оставить то, без чего не обойтись. В избе было пусто и гулко. Настасьино топтание, как по жести, отдавалось в стенах, жалобно позванивали от шагов не прикрытые ставнями окошки. А тоже: ставни не закрывали, чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться. Где там пролежать! Давно кануло то время, когда просыпали, а что говорить про эту ночь!

Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она – дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, а в межоконье – большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы – кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованный сундук и рядом три узла, куда столкано все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором: «Тебе ли, родненький, в город ехать, жизнь менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находишься, никто тут тебя не тронет. Будешь как на пенсии». После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась: «А ты поедem, поедem, не прячься. Тебя я не оставлю, без тебя я как без рук. И не просись, не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя... Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай... Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся – че ж делать! Я приеду – мы с тобой ишо повидимся».

В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку.

Дед Егор подозрительно посматривал на старуху: с Троицы она не выронила ни слезинки, будто и верно поняла наконец – все равно ехать, повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходила с мокрыми глазами, все всхлипывала, и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и смотрит, уставится на Егора – он обернется, а она:

– Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и остались...

– Тьфу ты, окаянная! – бесился он. – Сколева тебе одно по одному тростить?! Кому мы тутака нужны? Кому?

– А как мы там будем?.. – И в слезы. Через час-другой то же самое сначала.

Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий бакенщиков; дед Егор услышал и сбежал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого. Одну откупили в праздник. Сидели вдвоем – вся семья. Дед Егор вообще в последнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть потихоньку от Матёры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей – все дома да дома. Настасья выпила, размякла, что-то в ее бедовой голове сдвинулось – она сказала:

– А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем. Че ж теперь... куды денешься?

– Давно пора скумекать, – обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая, надолго ли ее понятие.

– Ребят потеряли... где их теперь взять? – продолжала она с раздумчивой покорностью. А мы вдвоем... может, ниче... Там, поди, тоже люди. Ну и че, што незнакомые? Сознакомимся. А нет – вдвоем будем. Че ж теперь?.. Ты не плачь, Егор...

С этим он смирился: лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слез как отрубил. Только временами, когда Настасье становилось невмочь, она поднимала на старика свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла:

– Ты не плачь, Егор. Че ж теперь... Может, ниче...

Отошла последняя ночь в Матёре, встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро приклонилась Настасья, подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не омывшись им, тут же поднялась. Егор еще лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя перед собой свою Матёру, деревню и остров, потом, вздохнув, подумав, набрала беремя дров, вернулась и затопила русскую печку.

Егор услышал и заворчал:

– Ты, никак, старая, совсем рехнулась?

– Нет, Егор, надо напоследок протопить, – торопливо возразила она. – Пушай тепло останется. Покамест шель-шевель, она прогорит. Долго ли ей? Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять – ты че, Егор?!

И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток.

День направлялся на славу; в добрый день выпало старикам уезжать с Матёры. Ни соринки, ни хмурины в огромном, ярко-сухом небе; солнце звонкое, жаркое. Для порядка пробежался верховик и, не успев поднять волну, затих, сморенный покоем; течение на реке смялось и сразу разгладилось. Под звонким, ярким солнцем с раннего утра все кругом звенело и сияло, всякая малость выступила на вид, раскинулась не таясь. Пышно, богато было на материнской земле – в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест гляючи, душу, прикидывать урожай – хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины. Ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдованья, не надсажаясь, подступающую день ото дня работу – так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь.

Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел скорый, без удовольствия, потому что торопились, расслаиваться было некогда. Настасья вылила остатки

кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку; взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили – не поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный – тут ладно, тут кто-нибудь поможет, а что там с ним делать? – в сердцах приказал освободить стол, хотя поначалу собирался везти его в последнюю очередь. Кроме стола из обстановки брали с собой еще разборную железную кровать с панцирной сеткой, две табуретки и посудный шкафчик. Курятник, лавки, топчан, еще один стол, русская печка, подполье, двери оставались. Много чего оставалось в амбарах, во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатах – и все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь и что там сразу оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, теса, кринки, ушаты, кадки, лагуны, щипцы, кросна... А еще: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырех топоров брали только один), точило, железная печка, тележка, санки... А еще: капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи снасти, всякий мастерской инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! И никому не продашь, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое? Бросать жалко, а в новые хоромы со старым скарбом не влезешь, да и без надобности он там. Настасья за все хваталась, все тащила в багажную кучу – дед Егор кричал:

– Куды? Куды? Мать-перемать!

– Нет, Егор, ты погляди: совсем доброе корыто. Как новое ишло. В ём воду можно держать.

– Брось, где лежало, и боле не касайся. Воду держать... На што тебе ее держать?

Но сам он взял с собой и ружье, старое, тульское, шестнадцатого калибра, и весь, какой был, припас к нему, хотя тоже сомнительно, чтобы ружье в его годы в большом городе пригодилось. Но ружье есть ружье, это не корыто, с ним расстаться он ни за какие пряники бы не смог. Настасья в свой черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять: «Куды?», но Настасья решительно отказала:

– Нет, Егор... кудельку когды потянуть... как без прялки?

– Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой теперечи одинакая. Где ты ее возьмешь?

– Нет, Егор... – уперлась и отстояла прялку.

Она пристроила ее рядом со столом в первый же рейс, сверху придавила узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика большая, под груз, лодка. На ней и предстояло старикам сплавиться в Подволочную на пристань, куда вечером подойдет пароход, и дальше, оставив лодку у тамошнего бакенщика, двигаться на пароходе. Павел Пинигин, Дарьин сын, предлагал деду Егору на буксире домчать его, чтобы не грестись, до пристани своей моторкой, но дед отказался:

– Через Ангару, так и быть, перетяни, а тамака своим ходом. Куды нам торопиться? До пароходу помаленьку сползем. Хучь Ангару в остатный раз поглядеть.

Только он укатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде, к чему-то с жалостью прислушиваясь и присматриваясь, поднялась на крыльцо и осторожно потянула на себя дверь.

– Настасья! – позвала она, не зная, дома та или нет.

– Ниче, ниче, Дарья, – отозвалась Настасья. – Ты заходи. Мы с Егором поедем. Люди живут...

– Собралися? – спросила Дарья, входя.

– Ага. А Егор пла-ачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю: «Ты не плачь, Егор, не плачь...»

– Она задержала на Дарье глаза, будто только теперь узнала ее, и, вздрогнув, умолкла – пришла, значит, в полную память. – Ниче, Дарья, – виноватым шепотом сказала она. – Ты видишь... это уж так... – И показала на узлы на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы держаться в уме, да не может. И жалобно попросила: – Ты уж, Дарья, не поминай меня сильно худо...

– И ты меня... – дрогнувшим голосом, промокая платком с головы глаза, повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с Настасьей.

– Помнишь, у нас ребята были?

– Как не помню?!

– А где их тепери взять? Одне. Я говорю Егору: «Поедем, Егор, нечего ждять, поедем», а он...

Она осеклась, бессильно опустилась на лавку. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разоренной избе было неудобно – виновато и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить нельзя, нет такой помощи, чтобы пособить, и видеть невыносимо, как слепнут стены и в окна льется уже никому не нужный свет.

Настасья вспомнила:

– Че я хотела тебя просить, Дарья. Едва не забыла. Возьми к себе нашу Нюню. Возьми, Дарья.

– Какую ишо Нюню?

– Кошку нашу. Помнишь нашу кошку?

– Ну.

– Она щас куды-то убежала. Как стали собираться, убежала и не идет. Возьми ее, покорми до меня.

– Дак у меня своих две. Анфиза тоже подкинула – уезжала. Куды я с имя?

– Нет, Дарья, Нюню надо взять, – взволновалась Настасья. – Нюня – лаская кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жись ее не оставила, а Егор говорит: на пароход не пустют. А ну как взаправду не пустют – пропадет Нюня. Тебе с ей никакой заботушки, она ниче и не ест, рази капельку когды бросишь...

– Господи... с Нюней со своей... Попадется на глаза – возьму, не попадется – как хочет. Я за ей по острову бегать не буду.

– Нет, Дарья, она сама. Она все сама. Такая понятная кошечка. А посмотришь на ее – и меня помянешь. Она как памятка моя останется. А я приеду, я назадь ее... Ее вот только без меня поддержать, чтоб с голоду не околела.

– Ты-то правду приедешь?

– Дак а мы без картофки-то как будем? А ну ежли зиму ишо придется не помереть – как без картофки? – Казалось, Настасья говорила это кому-то другому – Дарье она сказала, потеряв голос до стопа: – Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы виноватые?

Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор, и старухи поднялись. Снова взяли за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили – не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину-сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину на веки вечные стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о том старикам. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали, посоветовал:

– Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один пыжиться.

– Куды один... – махнул дед рукой. – Через грыжу не взять. Понапихала, дурная голова. – Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Настасью.

– Ниче, Егор, ниче, – не расслышала она, кивая чему-то своей большой головой и попутно озираясь кругом, словно все еще что-то разыскивая.

Сундук повез Павел; дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтоб не свалился, за медное крученное кольцо. Павел же помог перевезти остальное и сгрузить все в лодку, потом вывел лодку на воду, проверяя запас в бортах, – его было достаточно. Прикатили обратно тележку, дед Егор поставил ее под навес, осторожно опустил оглобли на землю, но, подумав, зачем-то поднял их и уткнул в стену.

По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц зарубили – двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за сто тридцать рублей сдали в совхоз – разбогатели – куда с добром! Но телка паслась на Подмоге – хорошо хоть, ее не увидеть. И все. А было какое-то хозяйство, жизнь прожили не без рук – все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога.

Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятенком. Сидели молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасьей, которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто все искала и не могла отыскать себя – ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде. Но дед Егор достал вторую бутылку купленного в плавларьке вина, они с Павлом вынесли из кути и подставили к скамейке стол, и старухи обрадованно, что еще не подниматься, зашевелились, завздохали. А больше всех обрадовалась Настасья, она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась сегодня в последний раз русская печка.

Стаканов было только два; первыми подняли их Павел и дед Егор.

– Отчальную, что ли? – неуверенно спросил Павел. Нужно было сказать что-то еще, и он добавил: – Живите долго, дядя Егор, тетка Настасья.

– Заживе-е-ом! – Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло.

Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино маленькими глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое. Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, предупредил:

– Недолго, суседки. Надоть трогаться.

Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в чем винулись, в чем оправдывались, не знали, – тем более этот незнамый грех нуждался в облегчении. Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась: если уж понесло, потащило куда-то – что камешки на берегу считать: они на берегу.

– Самовар-то с собой берешь? – спросила Сима, показывая на вычищенный, празднично сияющий у порога самовар.

– А как? – закивала Настасья. – Не задавит. Я его Егору не дала везти, на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну.

– Пошто нельзя? – О чем-то надо было говорить – говорили.

– Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая.

– Нам тепери ни одна примета не подойдет, – отказала Дарья. – Мы для их люди негодные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь одной в гроб положить. Как мы там без самовара останемся?

– Там-то он нашто тебе?

– Чай пить – нашто ишо?

– А мы с Егором поедем, – сказала Настасья, перебивая этот пустой, по ее понятию, разговор. – Может, ниче... Счас и поедем, все уж на берег свезли.

И, будто подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показал, что пора трогаться.

– Вот, поехали, – обрадованно всполошилась Настасья и первой выскочила из-за стола. – Я говорела... Идем, идем, Егор! – крикнула она, как-то сразу вдруг переменившись, чего-то испугавшись. – погоди меня, Егор, не уходи.

Она подхватила самовар и кинулась к дверям, оборачиваясь на старух, с молчаливой мольбой подгоняя их. Дарья, поднявшись, степенно перекрестилась на пустой угол, вслед за ней, прощаясь, перекрестилась туда же Катерина. Они, задерживаясь, ждали чего-то от Настасьи, какого-то положенного в таких случаях действия, но она, вконец потерявшись, ничего не помнила и ничего не сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены – где

он всегда закипал, и, когда выбрались из избы старухи, торопясь, долго не попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась – Егор выходил уже из ворот – и закричала что было мочи:

– Его-ор!

Он запнулся.

– Егор, ключ куды?

– В Ангару, – сплюнул дед Егор.

И, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулочек, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья непонимающе, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед.

– Давай сюды. – Прикрывая платком рот, чтоб не разрыдаться, Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке. – Пущай у меня будет. Я тут буду заходить, доглядывать.

– Ворота закрывай, – не забыла Настасья: она словно бы улыбалась или усмехалась, лицо ее, забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну, то в другую сторону. – А то скот наберется, напакостит. Это уж так.

– Мне тут рядом. Кажин день буду смотреть. Ты об этом не думай.

– А мы с Егором поедем...

...Утро поднялось уже высоко, но было еще утро, когда Настасья с Егором отплывали с Матёры. Вовсю разгорелось солнце, выцвела зелень на острове, сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими, сверкающими полосами вспыхивала, играя, Ангара, в них со свистом бросались с лету и терялись в искрении стрижи. Там, где течение было чистым, высокое яркое небо уходило глубоко под воду, и Ангара, позванивая, как бы летела в воздухе.

Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед за Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не видно. И не слышно стало Матёру рядом с Ангарой. Настасья пристроила самовар в носу лодки и вернулась к старухам прощаться. Они всхлипывали, уже не сдерживаясь. Испуганный их слезами, громко плакал Симин мальчишка. Настасья по очереди подавала старухам руку – по-другому прощаться она не умела – и, трясая головой, повторяла:

– Ниче, ниче... может, ниче...

Дед Егор поторопил ее.

Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку.

– А Егор пла-ачет, плачет... – начала она, показывая на старика, и умолкла. Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды – направо, налево и прямо – поясно поклонился Матёре. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее.

– Настасья! Настасья! – кричали старухи.

– Ниче, ниче, – стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как надломившись, упала на узлы и завывала.

Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там, на глубокой воде, их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир; Павел завел мотор – лодку со стариками дернуло и потащило – все быстрее и быстрее, все дальше и дальше вниз по Ангаре.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.